Апофеоз беспочвенности

Автор:
Лев Шестов

Апофеоз беспочвенности

Лев Исаакович Шестов

«Апофеоз беспочвенности» – основополагающая работа Шестова, вызвавшая в свое время бурную и неоднозначную реакцию. Необычно в этом произведении ВСЕ – и его насыщенность парадоксами, и афористическая, смелая манера изложения, и – прежде всего – сама основная идея абсурдности человеческого существования и приоритета свободы человеческой личности над общественными нормами.

Лев Шестов

Апофеоз беспочвенности

(опыт адогматического мышления)

Предисловие

I

Нужно оправдываться – сомнения быть не может. Вопрос лишь, с чего начинать: с оправдания формы или содержания настоящей работы. На Западе афористическая форма изложения – явление довольно обычное. Иное дело у нас.

У нас полагают, что книга должна представлять из себя последовательно развитую систему мыслей, объединенных общей идеей – иначе она не оправдывает своего назначения… И точно, если бы книга не могла иметь никакого другого назначения, – то афоризм был бы этим самым навсегда осужден. Разрозненные, не связанные между собой мысли в лучшем случае могли бы рассматриваться как сырой материал, который может получить некоторую ценность лишь после соответствующей обработки. Но по мере того, как растет недоверие к последовательности и сомнение в пригодности всякого рода общих идей, не должно ли явиться у человека отвращение и к той форме изложения, которая наиболее приспособлена к существующим предрассудкам? Говорю по опыту. Настоящей работе я менее всего предполагал придать ту форму, которую она сейчас приняла. Во мне уже до известной степени успела вкорениться привычка к последовательному и систематическому изложению, и я начал писать, даже довел до половины работу по тому же приблизительно плану, по которому составлял и свои предыдущие сочинения. Но чем дальше подвигалась работа, тем невыносимее и мучительнее становилось мне продолжать ее. Некоторое время я и сам не мог отдать себе отчета, в чем тут, собственно, дело. Материал давно готов – осталась только чуть ли не внешняя скомпоновка. Но то, что я принимал за внешнюю обработку, оказалось гораздо более существенным и важным делом, чем мне казалось. С удивлением и недоумением я стал замечать, что, в конце концов, «идее и „последовательности“ приносилось в жертву то, что больше всего должно оберегать в литературном творчестве – свободная мысль. Иногда незаметное, пустячное на вид обстоятельство, – например, место, отведенное той или другой мысли, или случайное соседство уже придавали ей нежелательный оттенок отчетливости и определенности, на которые я не имел никакого права и которых менее всего желал. А все „потому что“ заключительные „итак“, даже простые „и“ и иные невинные союзы, посредством которых разрозненно добытые суждения связываются в „стройную“ цепь размышлений, – Боже, какими беспощадными тиранами оказались они! Я увидел, что так писать – для меня по крайней мере – невозможно. Ведь все мои собственные воспоминания читателя говорили мне, что самое обременительное и тягостное в книге – это общая идея. Ее нужно всячески вытравлять, если только не хочешь стать ее данником и бессловесным рабом, а меж тем до тех пор, пока сохраняется принятая форма изложения, идея не только будет главенствовать, но и подавлять собой все содержание книги. Ибо каким иным путем может быть достигнуто единство и цельность в сочинении? Я убедился, что другого исхода нет, что нужно вновь разобрать по камням наполовину уже выстроенное здание и, рискуя возбудить против себя негодование читателей и в особенности критики, которая, разумеется, в нарушении традиционной формы не захочет увидеть ничего,

кроме странной причуды, представить работу в виде ряда внешним образом ничем не связанных меж собой мыслей… Нет идеи, нет идей, нет последовательности, есть противоречия, но ведь этого именно я и добивался, как, может быть, читатель уже и угадал из самого заглавия. Беспочвенность, даже апофеоз беспочвенности, – может ли тут быть разговор о внешней законченности, когда вся моя задача состояла именно в том, чтоб раз навсегда избавиться от всякого рода начал и концов, с таким непонятным упорством навязываемых нам всевозможными основателями великих и не великих философских систем. Современный законодатель мысли устанавливает незыблемый принцип: уметь кончать. Но попробуйте допросить его: что дает ему право с такой уверенностью провозглашать свой закон – и вы увидите, что у него, в сущности, ничего, кроме „доказательств по аналогии“, нет за душой. Дом без крыши никуда не годится, – ergo размышления без начала и конца должны быть отвергнуты. Но ведь дом и без печей не удовлетворяет своему назначению – неужели же из-за этого писателям обзаводиться дымовыми трубами и заслонками? Да и вообще ведь доказательства по аналогии самые бедные и неубедительные доказательства, собственно говоря, даже совсем и не доказательства. А меж тем, сколько я ни напрягаю память, я не могу припомнить в пользу законченности больше ни одного серьезного довода. Домом с крышей исчерпывается все. Ведь нельзя же в данном случае ссылаться на стремления нашего разума!? К чему только не стремился уже наш бедный разум и чего только уже не оправдывали его стремлениями! Когда-то, по крайней мере, на него возлагали большие надежды – и тогда было естественно потакать его потребностям, даже дурным привычкам, вкусам и капризам. Но теперь, когда все так ясно сознали его бессилие, когда даже метафизики взялись за естественные науки и ни на минуту не спускают глаз с теории познания – неужели и теперь имеет смысл считаться с потребностями разума?! Не наоборот ли? Не является ли главной задачей нашего времени научиться искусству обходить (а то и разрушать) все те многочисленные заставы, которые под разными предлогами выстраивались в старину могущественными феодалами духа и лишь в силу вечного консерватизма трусливой и близорукой человеческой природы и доныне продолжают еще считаться непреодолимыми, даже „естественными“ преградами для движения нашей мысли? Зачем кончать? Зачем последнее слово? Зачем мировоззрение?.. Разумеется, я говорю о философии и о философах, о людях, стремящихся как можно более увидеть, узнать, испытать в жизни. Для обыкновенной житейской практики законченность по-прежнему останется неизменным догматом. Дом без крыши, точно, никуда не годится… Но незаконченные, беспорядочные, хаотические, не ведущие к заранее поставленной разумом цели, противоречивые, как сама жизнь, размышления – разве они не ближе нашей душе, нежели системы, хотя

бы и великие системы, творцы которых не столько заботились о том, чтоб узнать действительность, сколько о том, чтоб „понять ее“? „Если моя теория не согласуется с фактами, – то тем хуже для фактов“, – сказал Гегель. Мне кажется, что вслед за ним и многие другие могли бы повторить эти „гордые“ слова – но не все успевают при жизни добиться гегелевской славы, при которой только и разрушается роскошь такой самоуверенной откровенности. Философы, естественно, ценят свои системы очень высоко: нелегко они им даются, на них ухлопывается целая жизнь. Да и спрос на мировоззрения велик. Человек, действительно, хочет „понять“ мир – и иногда так сильно хочет, что желание заглушает в нем всякую способность критически относиться к представляемым доводам, и он с восторгом приветствует даже слабую аргументацию. Теперь никто не скажет: credo, quia absurdum,[1 - Верю, потому что невероятно (лат.)] – но это не значит еще, что мы вполне эмансипировались от средневекового суеверия, что у нас нет своего credo и своего absurdum, только, разумеется, приспособленных к духу рационалистически настроенного века железных дорог и электричества. Впрочем, не нужно даже обманывать себя иллюзией новизны. Если порыться в памяти, то для нашего символа веры мы можем найти готовую формулу в пережитках далекой старины. Как ни дисциплинируйте человеческий ум, он все же ухитрится под тем или другим предлогом забраться под какую-нибудь «сень», чтобы на досуге вволю предаться своим порочным наклонностям, главным образом dolce far niente.[2 - Сладостное безделье (ит.).] На что, кажется, беспощадно поступает современная методология! «Вере» строжайше воспрещено на выстрел приближаться к областям, где царит строгое научное исследование. Были приняты самые разнообразные способы предупреждения, дабы коварная обольстительница как-нибудь тайком не нашла себе приюта не только в уме, но и в «сердце» человека. «Вера ненаучна» – теперь это знает даже ребенок, и с школьного возраста нас приучают оберегаться от сближения с особой, навсегда скомпрометировавшей себя таким изобретениями, как астрология, алхимия и т. д. И если вы ознакомитесь с современными учениями о методах, вы уйдете от них совершенно успокоенным: сквозь частую сеть настроенных ими охранных постов, по-видимому, никакая вера не проберется в душу современного человека, будь она даже незаметнее булавочной головки. В положительности современного знания никто не сомневается, даже самые подозрительные и искушенные люди. Когда Толстой или Достоевский начинали воевать с наукой, они всеми силами старались перенести спор на моральную почву. Наука права, права, об этом разговору быть не может, но она служит богатым, а не бедным, она развивает в людях дурные страсти. Даже Ницше не всегда имел достаточно смелости пред лицом современной науки, и его смущала занятая ею неприступная позиция.

Но, к счастью, все, что есть дело человеческих рук, при ближайшем рассмотрении оказывается несовершенным. Столетия прогрессивной научной работы дали блестящие практические результаты, но в области теоретической мысли новое время почти ничего не сделало, хотя мы и насчитываем длинный ряд громких имен, начиная с Декарта и кончая Гегелем. Наука покорила человеческую душу не тем, что разрешила все ее сомнения, и даже не тем, что она, как это думает большинство образованных людей, доказала невозможность удовлетворительного их разрешения. Она соблазнила людей не своим всеведением, а житейскими благами, за которыми так долго бедствовавшее человечество погналось с той стремительностью, с какой измученный продолжительным постом нищий набрасывается на предложенный ему кусок хлеба. Венцом положительных наук считается социология, обещающая выработку таких условий общежития, при которых нужда, горе и страдания навсегда исчезнут с земли. Это ли не соблазн? И разве ради таких заманчивых перспектив не стоит отказаться от призрачных надежд, которыми в прежние времена жило человечество? И на смену старого credo, quia absurdum явилось новое, вернее, обновленное и неузнанное credo, ut intelligam.[3 - Верю, чтобы понимать (лат.).]

Нужно только понять окружающий мир – и величайший идеал, когда-либо рисовавшийся человеческой фантазии, будет осуществлен. На радостях никто и не заметил, что бедный человеческий разум, руководимый на этот раз самой наукой, этой воплощенной осторожностью и недоверчивостью, снова попал впросак, и что вера в «понимание» не имеет решительно никаких преимуществ, сравнительно с другими, раньше властвовавшими над людьми верами. Да к тому же еще идеал, слово, пред которым человечество чуть ли не с колыбели своей привыкло гнуть колени. Где уж тут поверять, подозревать, допрашивать! Нет ни одного философски образованного человека, которому не было бы памятно схоластическое credo, ut intelligam, – но все убеждены, что к нам оно никакого отношения не имеет и что мы далеки от того младенческого состояния, при котором вера определяет характер и направление умственных интересов. Мы до того убеждены, что научное воспитание предохранило нас навсегда от возможности несообразных увлечений, что в последнее время даже вновь разрешили открыто приблизиться к себе бедной изгнаннице. «Это нашим предкам опасно было знаться с верой. Невышколенные и некультурные люди – они не умели пользоваться огнем и всегда становились его жертвой. Мы же спокойно будем наслаждаться теплом и светом, ибо знаем все свойства опасной стихии и не боимся их разрушительного действия». Такие и им подобные рассуждения усыпили подозрительность человеческой мысли и привели к неслыханному дотоле торжеству науки. Кому придет теперь охота повторить

старый вопрос: в чем истина? Кто не знает, что этот вопрос не имеет никакого смысла с научной точки зрения, ибо какой бы ни получился на него ответ, это нисколько не повлияет на ход и характер научных изысканий? Наука вперед знает, чего она хочет, и свои стремления формулирует в виде положений, которые она называет аксиомами или не требующими доказательств предпосылками.

II

В последнее время, когда вечные теоретические споры особенно обострили вопрос о происхождении аксиом, в философской литературе наблюдается чрезвычайно важное, на мой взгляд, даже знаменательное явление. В Германии целый ряд ученых философов выступает с попыткой так называемой нормативной теории закона причинности. Существенно нового в этом нет. Нормативная теория есть только своеобразная форма кантианства. Но здесь важно, что современные ученые считают необходимым особенно резко подчеркнуть те стороны кантовского учения, которые сам знаменитый основатель трансцендентального идеализма не находил нужным выдвигать на первый план. Связь науки с этикой у Канта ясна для всякого и помимо исследований его новейших учеников. Но у него, хоть он и признавал примат практического разума, закономерность явлений природы никогда не изображалась находящейся в прямой зависимости от наших этических требований. У него «закон» деспотически царил и над явления внешнего мира, и над человеческой душой. Но этим вся связь исчерпывается. Природа и человек повинуются – Канту этого было вполне достаточно. Современные же мыслители – захотели ли они большего, или почувствовали, что сохранить позицию Канта в неприкосновенном виде уже невозможно – пошли дальше. Они не признают независимого закона для теоретического разума – они его ставят под начало и контроль практического разума и делают попытки этического обоснования самостоятельной у Канта категории причинности. Вместе с Кантом они утверждают, что закономерность не свойственна явлениям внешнего мира, что ее туда привносит с собой человеческий разум, но привносит не потому, что по неисповедимым судьбам он принужден волей-неволей выступать в этой, быть может, и очень низменной и двусмысленной полицейско-административной роли, а потому, что эта роль есть высшая, самой моралью оправданная и освященная роль. А раз мораль появилась на сцену – шапки долой, дальнейших разговоров не полагается.

Теперь, быть может, читатель поймет, какой смысл и какое великое значение имел поход Ницше против морали. Немецкие философы, создавшие этическое обоснование закона причинности, шли своим путем и, вероятно, даже не подозревали о существовании Ницше. В свою очередь, Ницше, еще в 70-х годах оторвавшийся от университетской жизни, да и вообще мало интересовавшийся современными философскими учениями, вероятно, и не слышал ничего о новейших течениях в немецкой философии и менее всего мог думать, что занимается одним делом с официальными представителями этой науки. Правда, он занимался по-своему. В то время, когда в Германии напрягались все силы, чтоб поддержать падающий престиж закономерности, и бросали на карту последнюю и самую драгоценную ставку, мораль – больше уже нечем было рассчитываться, – Ницше высказал неожиданное суждение, что расплата производится фальшивой монетой, что мораль сама требует оправдания и, стало быть, не может отвечать за науку. Этой мысли Ницше с желательной полнотой и отчетливостью нигде не формулировал. Я не уверен даже, что он ясно сознавал ее. По-видимому, он скорей инстинктом чуял, что с наукой до тех пор невозможно бороться, пока не будет свалена ее вечная и могучая союзница – мораль. Инстинкт, как мы видели, не обманул его. Теперь наиболее осторожные люди убеждаются, что основные предпосылки, аксиомы научного знания держатся только моралью. Такое признание было с их стороны преждевременным? Они не могли думать, что их тысячелетняя мораль потеряет когда-либо свое обаяние? Весьма возможно – но слово сказано и вряд ли когда-нибудь забудется. Толстой, Достоевский и другие пытались восстановить против науки мораль – но их усилия в этом направлении оказались бесплодными. Нравственность и наука – родные сестры, родившиеся от одного общего отца, именуемого законом, или нормою. Временами они могут враждовать меж собой и даже ненавидеть одна другую, как это часто бывает между родными, но рано или поздно кровь скажется, и они примирятся непременно. Немцы это знают хорошо. У них везде – в школе, в армии, в морали, в полиции, в философии один высший принцип: порядок прежде всего. И, спору нет, принцип полезный: стоит только вспомнить, какие блестящие победы на всевозможных поприщах одержали наши дисциплинированные соседи за самое короткое время. Еще недавно они стояли в хвосте европейской культуры, теперь они заявляют, и совершенно основательно, притязания на гегемонию. И если бы наука и мораль ставили себе только утилитарные задачи, нужно было бы признать, что они своего достигли. Но они, как известно, добиваются большего. Они хотят себе суверенных, верховных прав над человеческой душой, и тут снова является старый вопрос, которого, несмотря на все теории познания, человечество никогда не забывало и никогда не забудет. Снова спрашивают: в чем истина? Наука безмолвствует. Мораль, по привычке, оглушительно выкрикивает старые,

потерявшие смысл слова. Но им уже мало кто верит.

III

Мораль научна – наука моральна. Ясно, что теория познания проглядела нечто чрезвычайно существенное. Предпосылка критической философии: разум, в исследовании способности которого она полагает свою главную задачу, есть нечто неизменное, всегда себе равное, – совершенно произвольна и ни на чем не основана. Вся уверенность Канта держалась только на его готовности объединить математику с естествознанием под одним общим именем науки. Но откуда такая готовность? Для человека беспристрастного, для человека принужденного быть беспристрастным, – ибо кто добровольно захочет отказаться от своих страстей и желаний? – тут только открывается во всей своей несомненности одно чрезвычайно важное обстоятельство. Всякий философ-исследователь рано или поздно сбрасывает с себя намозолившую ему спину вязанку чистых идей и делает привал, чтобы зачерпнуть живой воды из эмпирического источника, – хотя бы он и дал вначале самое торжественное обещание не прикасаться к эмпиризму. Канту нужно было остановиться, Канту больше всего в жизни нужен был отдых и конец – после того трудного перехода, на который вынудил его своим скептицизмом Юм. Но прямо признаться в своей человеческой слабости и сказать, как говорит всякий истомившийся путник: «Я устал и хочу отдохнуть, хотя бы на заблуждении, хотя бы на воображаемой вере в достигнутую цель», – с тех пор как существует философия, разве кто-либо из основателей великих систем разрешал себе такую откровенность? Но и то сказать: кто хочет приобресть славу Александра Македонского и покорить мир, не распутывает, а разрубает гордиевы узлы. Когда человек теряет способность и силы двигаться вперед, он начинает утверждать, что дошел до конца, что дальше идти некуда и не нужно, что пора остановиться и начать строить мировоззрение. Здесь, быть может, и кроется разгадка того, что каждое новое поколение выдумывает свои истины, нимало не похожие на истины предыдущих поколений и даже не имеющие с ними никакой преемственной связи – хотя историки из сил выбиваются, чтобы доказать противное. Какая может быть связь и взаимное понимание между бодрым юношей, вступающим в жизнь, и усталым стариком, подводящим итоги своему прошлому? Да и усталость усталости рознь. Иной раз сон бежит от измученного непосильным трудом и долгим бдением человека, и, наоборот, как часто это капризное божество дарит своими благами ленивого и досужего бездельника. Вот тут-то и поди с рассуждениями о благотворности отдыха и необходимости концов! Какие бы строгие доказательства вы ни приводили, с какою бы уверенностью вы ни становились в

позу Александра Македонского, в известных случаях вся ваша аргументация и весь пафос декламации будут потрачены даром. По воле судьбы этому человеку не до отдыха, не до сна. Прославлять сон и покой, говорить о нравственной обязательности сна и покоя пред человеком, для которого непрерывная бессонница и вечная внутренняя тревога стали почти второй природой – разве может быть более бесцельный и плоский вид издевательства? Всякие концы и последние слова, даже прославленные метафизические утешения, покажутся ему праздной и раздражающей болтовней. Если бы спросили его: «Куда ты идешь, на что ты надеешься?» – он, вероятно, ответил бы вам словами поэта:

Je vais sans savoir o?, j'attends sans savoir quoi.[4 - Я иду неведомо куда, я жду неведомо чего (фр.).]

Неужели вы думаете, что этот человек захочет вместе с Кантом и кантианцами возвести в перл создания норму, закон, порядок, или, чтоб понять мир, он допустит какую-нибудь предпосылку, предлагаемую ему этикой? Да он вовсе и не ищет «понимания». Понять – это значит свести неизвестное к известному, но ведь все известное он видел, испытал, допросил, и от известного он бежал без оглядки. Если у него может быть какая-нибудь надежда, – то только в предположении, что неизвестное ничего общего с известным иметь не может, что даже известное не так уж известно, как это принято думать, и что, следовательно, все предпосылки и бесчисленные веры, которыми утешались отдельные лица и целые народы, были только обманчивыми иллюзиями, быть может, и не лишенными красоты, но недолговечными и далекими от действительности. В его терминологии слово «понять», а вместе с ним и слово «конец», вероятно, совсем отсутствуют. Разве нужно понять мир, разве нужно ограничивать наше познание мира тем, что мы уже испытали и узнали раньше? У него одно желание – идти вперед. Куда он придет, где найдет приют? Эти вопросы потеряли для него смысл. Он все больше и больше убеждается, что слова «покой», «приют» и другие, им равнозначащие, далеко не имеют той ценности, по какой они котируются в философии. Какое право имеют люди ввиду того, что происходит на их глазах, утверждать, что последней целью нашего существования являются успокоенность и самоудовлетворенность? И что человеческий язык и тот человеческий опыт, для которого мы нашли уже соответствующие слова, достаточен для выяснения всех тайн жизни?..

Все это может показаться не относящимся к делу. Мне заметят, что когда возбуждаются философские вопросы, всякие лирические отступления несвоевременны, что их нужно отвести в область поэзии, что когда речь идет о

законе причинности, то даже сам Шекспир должен умолкнуть и только слушать, что ему говорят сведущие люди. Это было бы справедливо, если бы философы имели в своем распоряжении самостоятельные и независимые приемы исследования, если бы философы состояли из одних идей, а не из нервов и мускулов… Вошедшая в поговорку невозмутимость духа большинства представителей науки породила не только в публике, но и среди посвященных убеждение, что решающим моментом в суждении философа всегда являются сухие, объективные доводы. Да и темы его на вид таковы, что никакая «душа» не заинтересуется ими, хоть обещайте ей в награду личное бессмертие и магометанский рай со всеми его конкретными прелестями… Но, как я уже говорил, это чистейшее заблуждение. Философ знает усталость, которая какой угодно конец предпочитает продолжительному скитанию. Философ больше чем кто-нибудь другой боится неясности и неопределенности и за одно отчетливое заблуждение отдаст вам целый десяток трансцендентных, но шатающихся истин. А как боится он колеблющейся, неверной почвы! Помните вы страстные мечтания Гейне на корабле во время качки о родной Германии?

…Immerhin, mag Thorheit und Unrecht

Dich ganz bedecken, o Deutschland.

Ich sehne mich dennoch, nach dir:

Denn wenigstens bist du doch festes Land.[5 - Даже если ты вся будешь охвачена безумием и несправедливостью, о Германия, я все же буду тосковать по тебе, хотя бы потому, что ты твердая, надежная земля (нем.).]

Не приходили ли те же мысли Канту, когда он читал рассуждения Юма, колебавшие основные принципы науки? Философ – человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Он любит большие, хорошо утоптанные дороги, на которых легко и свободно движется теоретическая мысль, где нет ни деревца, ни травки даже, где царит прямая линия. Лучше всего он чувствует себя на широком, выровненном плацу. Здесь, под удар барабана, можно смело пройтись торжественным церемониальным маршем, не глядя вперед, не озираясь назад, с одной заботой не сбиться с такта и давать как можно больше «ноги». Философ ценит только логическое мышление, т. е. беспечное движение по раз принятому направлению, ибо таким образом сила инерции не растрачивается на вечные оглядки, искания путей, на борьбу с «свободой воли» и ее постоянными спутниками – сомнениями. Правда, обыкновенно философ охотнее говорит о парении, чем о маршировке, и никогда не выставляет на вид, что логика, главный источник его сил, только по забывчивости до сих пор еще не сведена на

очную ставку с законом инерции, одним из выражений которого она есть, была и будет. Но давно известно, что все люди питают слабость к высоким словам…

Я далеко не исчерпал всех привычек и вкусов ученого человека, но, полагаю, сказанного достаточно. Очевидно, он клевещет на себя, утверждая, что у него нет «души» и страстей, что он весь воплощенное стремление к отвлеченной истине, что его «убеждения» не коренятся в его психологии и что Шекспир не должен быть привлечен к обсуждению вопроса о законе причинности, философ боится, радуется, любит, ненавидит, устает, потягивается, дремлет, даже спит – совсем, как обыкновенные смертные, хотя имеет привычку употреблять слова и термины, непонятные и как будто бы даже чуждые непосвященным, даже для обозначения самых повседневных, чуть ли не физиологических своих отправлений. Основные предпосылки философии, ее аксиомы, стало быть, отнюдь не должны быть принимаемы за объективные утверждения. Спокойствие, ровность, холодность, равнодушие – тоже человеческие черты, которые, может быть, и способствуют приближению к истине, а, может быть, порождают неповоротливость и тяжеловесность, навсегда прикрепляющие человека к привычному месту и заранее осуждающие его на прочные и почтенные, но близорукие и ошибочные суждения. Настоящий исследователь жизни не вправе быть оседлым человеком и верить в определенные приемы искания. Он должен быть готов ко всему: уметь вовремя заподозрить логику и вместе с тем не бояться прибегнуть, когда нужно, хотя бы и к заклинаниям, как делали Достоевский и Ницше. Он должен уметь держаться прямо и глядеть на небо, но он же должен, когда нужно, не побрезгать согнуться в три погибели и искать истину на земле. Если человек вам скажет: scire est per causas scire,[6 - Знание есть знание причин (лат.)] можете больше не сомневаться: он уже не существует для философии, и философия не существует для него. Давно пора бросить старые предрассудки и открыто заявить: per causas scire est nescire.[7 - Зание причин есть незнание (лат.)] И тут, пожалуй, Шекспир пригодится. Он расскажет вам, что есть неизвестное, которое никоим образом не может и не должно быть сведено к известному. Что порядок, о котором мечтают философы, существует только в классных комнатах, что твердая почва рано или поздно уходит из-под ног человека, и что после того человек все-таки продолжает жить без почвы или с вечно колеблющейся под ногами почвой, и что тогда он перестает считать аксиомы научного познания истинами, не требующими доказательств, что он перестает их считать истинами и называет ложью. И что мораль, если только можно, не играя словами, назвать моральным его отношение к миру и людям, называет знание по причинам самым несовершенным знанием. Его девиз: апофеоз беспочвенности… Но «философ» давно уже не слушает. Все лучше, чем беспочвенность. Много грязи, пошлости,

гадости и глупости в тебе, Германия, —

Wenigstens bist du doch festes Land.[8 - Хотя бы потому, что ты твердая, надежная земля (нем.).]

Л.Ш.

Часть первая

Zu frugmentarisch ist Welt und Leben.

H. Heine.[9 - Мир и жизнь слишком фрагментарны – Г. Гейне (нем.).]

1

Дальние улицы жизни не представляют тех удобств, которыми привыкли пользоваться обитатели городских центров. Нет электрического и газового освещения, даже керосиновых фонарей, нет мостовых – путнику приходится идти наугад и в темноте ощупывать дорогу. Если хочешь огня, нужно ждать молнии, либо самому добыть искру тем первобытным способом, какой существовал у наших отдаленных предков: выбить ее из камня. При мгновенном свете вдруг из темноты выступят очертания незнакомых мест: что увидел в одно мгновение – старайся удержать в памяти, ошибочно или правильно было твое впечатление. Второй раз не скоро удастся добыть свет – разве ушибешься лбом о стену и из глаз искры посыпятся. Что можно при таком свете увидеть? И как можно требовать отчетливости и ясности в суждениях от тех людей, которых любознательность (будем думать, что любознательность достаточно в нас сильна) осудила странствовать по окраинам жизни? И как можно их дело приравнивать к делу обитателей центров?

2

Закономерность явлений природы считается чем-то столь понятным, само собой разумеющимся, что находят возможным искать ее корни не в реальности действительной жизни, а в характере нашего разума. На самом деле, закономерность явлений природы – самое загадочное из всего того, что нам приходится наблюдать в жизни. Откуда порядок? Почему порядок, а не хаос и беспорядочность? И если бы гипотеза закономерности не приносила с собой столько практических выгод, люди никогда бы не соблазнились возводить ее в сан вечной и непререкаемой истины. Но благодаря ей, оказалось возможным предвидение, savoir pour prevoir,[10 - Знать, чтобы предвидеть (фр.).] а вместе с тем господство над природой, и философы, всегда преклонявшиеся пред успехом, стали наперерыв заискивать у нее и первым делом предложили ей высший титул, каким они располагали – титул вечной истины. Но и этого ей показалось мало: l'appetit vient en mangeant.[11 - Аппетит приходит во время еды (фр.).] Как старуха в сказке о золотой рыбке, причинность захотела, чтоб сама рыбка была у нее на посылках… Этого уже кой-кто не стерпел – но только кой-кто…

3

Оседлый человек говорит: «Как можно жить без уверенности в завтрашнем дне, как можно ночевать без крова!» Но вот случай навсегда выгнал его из дома, – и он ночует в лесу. Не спится ему: он боится дикого зверя, боится своего же брата, бродяги. Но, в конце концов, он все-таки вверится случаю, начнет жить бродягой и даже, может быть, спать по ночам.

4

Писатель, особенно молодой и неопытный писатель, воображает, что он обязан дать своему читателю самые полные ответы на всевозможные вопросы. И так как добросовестность обыкновенно мешает ему закрывать глаза и игнорировать наиболее мучительные сомнения, то он волей-неволей начинает трактовать о

«первых и последних вещах». И не умея сказать на эти темы ничего путного – не молодое это дело вмешиваться в философские споры, – он начинает горячиться и кричать до хрипоты, до изнеможения. Накричавшись досыта, он устает и умолкает, и потом, если его слова имели успех у публики, сам удивляется, как это ему удалось так легко сделаться пророком. В душе посредственного человека рождается при этом только желание до конца дней своих сохранить свое влияние на людей. Более же чуткие и даровитые натуры начинают презирать и толпу, не умеющую отличать крикунов от пророков, и самих себя за то, что хоть раз в жизни глупая и позорная роль паяца высоких идей могла соблазнить их.

5

Как тяжело читать рассказы Платона о предсмертных беседах Сократа! Его дни, часы уже сочтены, а он говорит, говорит, говорит… Критон приходит к нему чуть свет и сообщает, что священные корабли не сегодня-завтра вернутся в Афины: Сократ сейчас же готов разговаривать, доказывать… Правда, может быть, не совсем следует доверять Платону. Передают, что Сократ по поводу записанных Платоном диалогов своих заметил: «Сколько этот юноша налгал на меня». Но ведь все источники согласно показывают, что месяц после своего осуждения Сократ провел в непрерывных беседах со своими учениками и друзьями. Вот что значит быть любимым и иметь учеников! Даже умереть спокойно не дадут… Самая лучшая смерть это та, которая почитается самой худшей: когда никого нет при человеке – умереть далеко на чужбине, в больнице, что называется, как собака под забором. По крайней мере в последние минуты жизни можно не лицемерить, не учить, а помолчать: приготовиться к страшному, а может быть, и к великому событию. Паскаль, как передает его сестра, тоже много говорил перед смертью, а Мюссе плакал, как ребенок. Может быть, Сократ и Паскаль оттого так много говорили, что боялись разрыдаться? Ложный стыд!

6

Бесполезность и ненужность какой-нибудь мысли или даже целого ряда, системы мыслей не может служить достаточным основанием, чтобы отвергнуть

их. Раз мысль явилась – открывай ворота. Ибо если ты закроешь ей легальный вход, она ворвется силой или, как крыловская муха, проползет тайком: мысль не считается с законами чести и морали. Пример: реализм в литературе. При своем появлении он вызвал всеобщее негодование. Зачем нам знать грязь жизни? И точно – незачем; реализм не умел честно оправдать себя. Но так как пройти ему все-таки нужно было, то он, не задумываясь, солгал: сравнил себя с патологией, назвался полезным – и добился господства в литературе. Теперь уже все видят, что реализм бесполезен, даже вреден, очень вреден и ничего общего с патологией не имеет, но согнать его с насиженного места не так легко. Давность прошла, и есть justus titulus[12 - Законное основание (лат.).] владения.

7

Граф Толстой проповедует неделание… Но, кажется, тут он старается без всякой нужды. Мы в достаточной мере «не делаем». Праздность и именно та праздность, о которой мечтает гр. Толстой, вольная, сознательная, презирающая всякий труд праздность есть характернейшая черта нашего времени, – разумеется, я говорю о высших, обеспеченных классах общества, об аристократии духа, к которой преимущественно и обращается со своим словом гр. Толстой. Мы «пишем книги, рисуем картины, сочиняем симфонии» – но разве это труд? Это только видимость труда, развлечение от праздности, так что гр. Толстой гораздо правее, когда, забывая проповедь неделания, он начинает требовать от нас, чтобы мы по крайней мере часов 8 в день ходили за плугом. Это требование имеет смысл. Праздность портит нас. Мы возвращаемся к первобытнейшему состоянию наших предков, Адама и Евы, и, не имея нужды в поте лица заботиться о дневном пропитании, все норовим рвать плоды с запретных деревьев. И, разумеется, несем соответственное наказание. Божеские законы неизменны: в раю разрешается все, кроме любознательности, – даже труд, хоть там он не обязателен, так как предназначается, собственно, для изгнанников из рая. Гр. Толстой это понял: о неделании он заговорил только на минуту – и стал трудиться. Ибо в правильном, постоянном, ровном, ритмическом труде, производителен ли он, или только кажется производительным, как у гр. Толстого его хлебопашество, залог душевного мира. Примером тому могут служить немцы, которые не только начинают, но и кончают день благословением. В раю же, где нет труда и, соответственно этому, нет потребности в послетрудовом отдыхе и долгом сне, все соблазны становятся заманчивыми. Там опасно жить… Может быть, современные праздные люди

предугадывают райское состояние? Там, где не будет труда, не будет правильности, ровности, спокойствия, удовлетворения. Там нельзя будет предвидеть даже знающему, там savoir pour prevoir никому не будет нужно, там наша наука будет предметом насмешек? Уже и теперь ей многие, разумеется, из нетрудящихся, праздных людей – удивляются. Но многие, преимущественно немцы, еще защищают априорные суждения на том основании, что без них невозможна современная наука, правильная смена явлений и предвидение…

8

Для того чтобы вырваться из власти современных идей, рекомендуется знакомиться с историей: жизнь иных народов, в иных странах и в иные времена научает нас понимать, что считающиеся у нас вечными идеи суть только наши заблуждения. Еще один шаг: нужно представить себе человечество живущим не на земле, и все земные вечные идеи потеряют свое обаяние.

9

Мы не можем ничего знать о последних вопросах нашего существования и ничего о них знать не будем: это – дело решенное. Но отсюда вовсе не следует, что каждый человек обязан принять как modus vivendi[13 - Образ жизни (лат.)] какое бы то ни было из существующих догматических учений или даже имеющий такой скептический вид позитивизм. Отсюда только следует, что человек волен так же часто менять свое «мировоззрение», как ботинки или перчатки, и что прочность убеждения нужно сохранять лишь в сношениях с другими людьми, которым ведь необходимо знать, в каких случаях и в какой мере они могут на нас рассчитывать. И потому «как принцип» – уважение к порядку извне и полнейший внутренний хаос. Ну, а для тех, кому трудно выносить такую двойственность, можно учреждать порядок и внутри себя. Только не гордиться этим, а всегда помнить, что в этом сказывается человеческая слабость, ограниченность, тяжесть.

10

Уже пифагорейцы предполагали, что солнце неподвижно и что земля движется. Как долго пришлось истине ждать своего подтверждения!

11

Вопреки Эпикуру и его негодованию, мы, в конце концов, принуждены сказать себе, что все, что угодно, может произойти из всего, чего угодно. Это не значит, что и в самом деле камень когда-либо обращался в хлеб или что из туманных пятен мог «естественно» возникнуть видимый мир. Но мы в своем уме и в своем опыте не находим решительно ничего, что бы давало нам основание хоть сколько-нибудь ограничивать произвол в природе. Если бы действительность была иной, чем теперь, она бы оттого не стала нам казаться менее естественной. Иными словами: может быть, в человеческих суждениях о явлениях есть элементы и необходимые, и случайные, но, несмотря на все попытки, мы до сих пор не нашли и, по-видимому, никогда не найдем способа отделять первые от последних. Сверх того, мы не знаем, какие из них более существенны и важны. Отсюда вывод: философия должна бросить попытки отыскания veritates ?tern?.[14 - Вечные истины (лат.).] Ее задача научить человека жить в неизвестности – того человека, который больше всего боится неизвестности и прячется от нее за разными догматами. Короче: задача философии не успокаивать, а смущать людей.

12

Когда человек замечает в себе какой-нибудь недостаток, от которого он никакими способами не может избавиться, – ему ничего больше не остается, как объявить этот недостаток качеством. И чем серьезнее и значительнее недостаток, тем настоятельнее сказывается потребность облагородить его. От смешного до великого тоже только один шаг, и неискоренимый порок у сильных людей всегда переименовывается в добродетель.

13

Метафизика, в сущности, мало чем отличается от позитивизма. И тут, и там – закрытые горизонты, только иначе разрисованные и раскрашенные. Позитивизм любит серую бесцветную краску и простой, ординарный рисунок; метафизика предпочитает светлые, блестящие краски, сложный узор и всегда разрисовывает свое полотно под бесконечность, что, при знании законов перспективы, ей нередко удается. Но полотно ее достаточно прочно, и через него никакими ухищрениями не пробраться в «иной мир». Тем не менее, художественные перспективы сами по себе очень заманчивы, так что все-таки у метафизиков есть из-за чего ссориться с позитивистами.

14

Задача писателя: идти вперед и делиться с читателями своими новыми впечатлениями. Так что в сущности, вопреки принятому мнению, он совсем и не обязан доказывать что-либо. Но ввиду того, что по пути к нему пристают всякого рода полицейские агенты – вроде морали, логики, науки и т. п., – нужно иметь всегда наготове известного рода аргументацию, чтоб отвязаться от назойливых охранителей. Причем о качестве аргументации можно и не слишком заботиться. Ведь нет никакой надобности быть «внутренне правым». Вполне достаточно, если заготовленные соображения покажутся убедительными тем, которые поставлены охранять пути.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Верю, потому что невероятно (лат.)

2

Сладостное безделье (ит.).

3

Верю, чтобы понимать (лат.).

4

Я иду неведомо куда, я жду неведомо чего (фр.).

5

Даже если ты вся будешь охвачена безумием и несправедливостью, о Германия, я все же буду тосковать по тебе, хотя бы потому, что ты твердая, надежная земля (нем.).

6

Знание есть знание причин (лат.)

7

Зание причин есть незнание (лат.)

8

Хотя бы потому, что ты твердая, надежная земля (нем.).

9

Мир и жизнь слишком фрагментарны – Г. Гейне (нем.).

10

Знать, чтобы предвидеть (фр.).

11

Аппетит приходит во время еды (фр.).

12

Законное основание (лат.).

13

Образ жизни (лат.)

14

Вечные истины (лат.).

Купить: https://tellnovel.com/ru/shestov_lev/apofeoz-bespochvennosti

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить